

Владимир Одоевский

# Импровизатор



# Владимир Федорович Одоевский

## Импровизатор

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=647495](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=647495)  
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

### Аннотация

«По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, – и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантазмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма...»

# Содержание

Комментарии

# Владимир Федорович Одоевский Импровизатор

*Es mochte kein Hund so latiger leben!<sup>[1]</sup>*

*D rum hab' ich mich der Magie ergeben...*

**Gothe<sup>1</sup>**

По зале раздавались громкие рукоплескания. Успех импровизатора превзошел ожидания слушателей и собственные его ожидания. Едва назначали ему предмет, – и высокие мысли, трогательные чувства, в одежде полнозвучных метров, вырывались из уст его, как фантазмагорические видения из волшебного жертвенника. Художник не задумывался ни на минуту: в одно мгновение мысль и зарождалась в голове его, и проходила все периоды своего возрастания, и претворялась в выражения. Разом являлись и замысловатая форма пьесы, и поэтические образы, и щегольской эпитет, и послушная рифма. Этого мало: в одно и то же время ему задавали два и три предмета совершенно различные; он диктовал одно стихотворение, писал другое, импровизировал третье, и каж-

---

<sup>1</sup> Так пес не стал бы жить!.. Вот почему я магии решил предаться... Гете (нем.; перевод Н. Холодковского).

дое было прекрасно в своем роде: одно производило восторг, другое трогало до слез, третье морило со смеху; а между тем он, казалось, совсем не занимался своею работою, беспрестанно шутил и разговаривал с присутствующими. Все стихии поэтического создания были у него под руками, как будто шашки на шахматной доске, которые он небрежно передвигал, смотря по надобности.

Наконец утомилось и внимание и изумление слушателей; они страдали за импровизатора; но художник был спокоен и холоден, – в нем не заметно было ни малейшей усталости, но на лице его видно было не высокое наслаждение поэта, довольного своим творением, а лишь простое самодовольство фокусника, проворством удивляющего толпу. С насмешкою смотрел он на слезы, на смех, им производимые; один из всех присутствующих не плакал, не смеялся; один не верил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, давно уже привыкший к таинствам храма.

Еще последний слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравшему деньги при входе и с жадностию Гарпагона<sup>[2]</sup> принялся считать их. Сбор был весьма значителен. Импровизатор еще от роду не видал столько монеты и был вне себя от радости.

Восторг его был простителен. С самых юных лет жестокая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя спартанского тирана<sup>[3]</sup>. Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его. В минуту рассвета его понятий не в радужной одежде жизнь явилась ему, но холодный остов нужды неподвижной улыбкой приветствовал его развивающуюся фантазию. Природа была к нему немного щедрее судьбы. Она, правда, наделила его творческим даром, не осудила в поте лица отыскивать выражения для поэтических замыслов. Книгопродавцы и журналисты давали ему некоторую плату за его стихотворения, плату, которая могла бы доставить ему достаточное содержание, если бы для каждого из них Киприяно не был принужден употреблять бесконечного времени. В те дни, – редко тусклая мысль, как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и зарождалась, то ясна медленно и долго терялась в тумане; уже после трудов невероятных достигала она до какого-то неясного образа; здесь начиналась новая работа: выражение отлетало от поэта за мириады миров; он не находил слов, а если и находил, то они не клеились; метр не гнулся; привязчивое местоимение хваталось за каждое слово; долговязый глагол путался между именами; проклятая рифма пряталась между несозвучными

словами. Каждый стих стоил бедному поэту нескольких изгрызенных перьев, нескольких вырванных полос и обломанных ногтей. Тщетны были его усилия! Часто хотел он бросить ремесло поэта и променять его на самое низкое из ремесел; но насмешливая природа, вместе с творческим даром, дала ему и все причуды поэта: и эту врожденную страсть к независимости, и это непреодолимое отвращение от всякого механического занятия, и эту привычку дожидаться минуты вдохновения, и эту беззаботную неспособность рассчитывать время. Прибавьте к тому всю раздражительность поэта, его природную склонность к роскоши, к этому английскому приволью, к этому маленькому тиранству, которыми, наперекор обществу, природа любит отличать своего собственного аристократа! Он не мог ни переводить, ни работать на срок или по заказу; и между тем, как его собратия собирали с публики хорошие деньги за какое-нибудь сочинение, случайно возбуждавшее ее любопытство, — он еще не мог решиться приняться за работу. Книгопродавцы перестали ему заказывать; ни один из журналистов не хотел брать его в сотрудники. Деньги, изредка получаемые несчастным за какое-нибудь стихотворение, стоившее ему полугодовой работы, обыкновенно захватывали заимодавцы, и он снова нуждался в самом необходимом.

В том городе жил доктор, по имени Сегелиель. Лет тридцать назад его многие знали за довольно сведущего чело века; но тогда он был беден, имел столь малую практику, что решился оставить медицинское ремесло и пустился в торги. Долго он путешествовал, как говорят, по Индии, и наконец возвратился на родину со слитками золота и множеством драгоценных камней, построил огромный дом с обширным парком, завел многочисленную прислугу. С удивлением замечали, что ни лета, ни продолжительное путешествие по знойным климатам не произвели в нем никакой перемены; напротив, он казался моложе, здоровее и свежее прежнего; также не менее удивительным казалось и то, что растения всех климатов уживались в его парке, несмотря на то что за ними почти не было никакого присмотра. Впрочем, в Сегелиеле не было ничего необыкновенного: он был прекрасный, статный человек, хорошего тона, с черными модными бакенбардами; носил просторное, но щегольское платье принимал к себе лучшее общество, но сам почти никогда не выходил из своего огромного парка; он давал молодым людям денег займы, не требуя отдачи; держал славного повара, чудесные вина, любил сидеть долго за обедом, ложиться рано и вставать поздно. Словом, он жил в самой аристократической, роскошной праздности. Между тем он не оставлял и своего



врачебного искусства, хотя принимался за него нехотя, как человек, который не любил беспокоить себя; но когда принимался, то делал чудеса; какая бы ни была болезнь, смертельная ли рана, последнее ли судорожное движение, – доктор Сегелиель даже не пойдет взглянуть на больного: спросит об нем слова два у родных, как бы для проформы, вынет из ящика какой-то водицы, велит принять больному – и на другой день болезни как не бывало. Он не брал денег за лечение, и его бескорыстие, соединенное с чудным его искусством, могло бы привлечь к нему больных всего мира, если бы за излечение он не назначал пре-странных условий, как, например: изъяснить ему знаки почтения, доходившие до самого подлого унижения; сделать какой-нибудь отвратительный поступок; бросить значительную сумму денег в море; разломать свой дом, оставить свою родину и проч.; носился даже слух, что он иногда требовал такой платы, такой... о которой не сохранило известия целомудренное предание. Эти слухи расхоложали усердие родственников, и с некоторого времени уже никто не прибегал к нему с просьбою; к тому же замечали, что когда просившие не соглашались на предложение доктора, то больной умирал уже непременно; та же участь постигала всякого, кто или заводил тяжбу с доктором, или сказал про него что-нибудь дурное, или просто не по-

наравился ему. От всего этого у доктора Сегелиеля набралось множество врагов: иные стали доискиваться об источнике его невероятного богатства; медики и аптекари говорили, что он не имеет права лечить непозволенными способами; большая часть обвиняли его в величайшей безнравственности, а некоторые даже приписывали ему отравление умерших людей. Общий голос принудил наконец полицию потребовать доктора Сегелиеля к допросу. В доме его сделан был строжайший обыск. Слуги забраны. Доктор Сегелиель согласился на все, без всякого сопротивления, и позволил полицейским делать все, что им было угодно, ни во что не мешался, едва достаивал их взгляда и только что изредка с презрением улыбался.

В самом деле, в его доме не нашли ничего, кроме золотой посуды, богатых курильниц, покойных мебели, кресел с подушками и рессорами, раздвижных столов с разными затеями, нескольких окруженных ароматами кроватей, утвержденных на деках музыкальных инструментов, – вроде кроватей доктора Грома<sup>[4]</sup>, за позволение провести ночь на которых он некогда брал сотни стерлингов с английских сластолюбцев; словом, в доме Сегелиеля нашли лишь выдумки богатого человека, любящего чувственные наслаждения, лишь все то, из чего составляется приволье (comfortable) роскошной жизни, но больше ни-

чего, ничего, могущего возбудить малейшее подозрение. Все бумаги его состояли из коммерческих переписок с банкирами и знатнейшими купцами всех частей света, нескольких арабских рукописей и кипы бумаг, сверху донизу исписанных цифрами. Сначала эти последние очень обрадовали полицейских чиновников: они думали найти в них цифрованное письмо; но по внимательном осмотре оказалось, что то были простые черновые счета, накопившиеся, по словам Сегелиеля, от долговременных торговых оборотов, что было весьма вероятно. Вообще на все пункты обвинения доктор Сегелиель отвечал весьма ясно, удовлетворительно и без всякого замешательства; во всех словах его и во всех поступках видна была больше досада на то, что его беспокоят из пустяков, нежели боязнь запутаться в своих ответах. Для объяснения богатства он сослался на свои бумаги, по которым можно было видеть всю историю его торговли; торговля эта, правда, ведена была им с каким-то волшебным успехом, но, впрочем, не заключала в себе ни одного преступного действия; медикам и аптекарям отвечал он, что докторский диплом дает ему право лечить, кого и как он хочет; что он никому не навязывается с своим лечением; что не обязан объявлять составление своего лекарства и что, впрочем, они могут разлагать его лекарство, как им угодно; что, не пред-

лагая никому своих услуг, он был вправе назначать какую ему угодно плату; и что если он часто назначал странные условия, которые всякий был волей принять или не принять, то это для того только, чтоб избавиться от докучливой толпы, нарушавшей его спокойствие – единственную цель его желаний. Наконец, при пункте об отравлении доктор возразил, что, как известно всему городу, он большею частью лечил людей, ему совершенно неизвестных; что никогда не спрашивал ни об имени больного, ни об имени того, кто приходил просить об нем, ни даже о месте его жительства; что больные, когда он отказывался лечить, умирали оттого, что прибегали к нему тогда уже, когда находились при последнем издыхании; наконец, что враги его, вероятно, умирали по естественному ходу вещей; причем он доказал очевидными свидетельствами и доводами, что ни он и никто из его дома не имел ни малейшего сношения с покойниками. Люди Сегелиеля, допрошенные поодиночке со всеми судейскими хитростями, подтвердили все его показания от слова до слова. Между тем следствие продолжалось; но все, что ни открывали, все говорило в пользу доктора Сегелиеля. Ученый совет, подвергнув химическому разложению Сегелиелево лекарство, по долгом рассуждении объявил, что это славное лекарство было не иное что, как простая речная вода, и что действие,

будто бы ею производимое, должно отнести к сказкам или приписать воображению больных. Сведения, собранные о болезнях людей, в смерти которых обвиняли Сегелиеля, показали, что ни один из них не умер скоропостижно; что большая часть из них умерли от застарелых или наследственных болезней; наконец, при вскрытии трупов людей, об отравлении которых существовали сильнейшие подозрения, не оказалось и тени отравления, а обнаружались только известные и обыкновенные признаки обыкновенных болезней.

Этот процесс, привлечший многочисленное стечение народа в тот город, долго длился, ибо обвинителями была почти половина его жителей; но наконец, как судьи ни были предупреждены против доктора Сегелиеля, принуждены были единогласно объявить, что обвинения, на него внесенные, не имели никакого основания, что доктора Сегелиеля должно освободить от суда и от всякого подозрения, а доносчиков подвергнуть взысканию по законам. По произнесении приговора Сегелиель, наблюдавший до тех пор совершенное равнодушие, казалось, ожил; он немедленно внес в суд несомненные доказательства об убытках, понесенных им от сего процесса по его обширной торговле, и просил, чтоб они взысканы были с его обвинителей, с которых, сверх того, требовал удовлетворения за бесчестие, ему нанесенное. Никогда еще не

видали в нем такой неутомимой деятельности: казалось, он переродился; исчезла его гордость; он сам ходил от судьи к судье, платил несчетные деньги лучшим стряпчим и рассылал гонцов во все края света; словом, употребил все способы, которые находил и в законах, и в своем богатстве, и в своих связях, для конечного разорения своих обвинителей, всех членов их семейств до последнего, родственников и друзей их. Наконец он достиг своей цели: многие из его обвинителей лишились своих мест, – и с тем вместе единственного пропитания; целые имения нескольких семейств отсуждены были в его владение. Ни просьбы, ни слезы разоренных не трогали его души: он с жестокосердием изгонял их из жилищ, истреблял дотла их дома, заведения; вырывал с корнями деревья и бросал жатву в море. Казалось, и природа и судьба помогали его мщению; враги его, все до одного: их отцы, матери, дети умирали мучительною смертью; – то в семействе являлась заразительная горячка и пожирала всех членов его; то возобновлялись старинные, давно уснувшие болезни; малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотие руки, незначащая простуда – обращались в болезнь смертельную, и скоро самые имена целых семейств были стерты с лица земли. То же было и с теми, которые избегли от наказания законов. Этого мало: поднималась ли буря, вос-

ставал ли вихрь, – тучи проходили мимо замка Сегелиелева и раздражались над домами и житницами его неприятелей, и многие видали, как в это время Сегелиель выходил на террасу своего парка и весело чокался стаканом с своими друзьями.

Это происшествие навело сначала всеобщий ужас, и хотя Сегелиель, после своего процесса, переселился в город Б..., где снова начал вести столь же роскошную жизнь, как и прежде, но многие из жителей его родины, знавшие – подробно все обстоятельства процесса и раздраженные поступками Сегелиеля, не оставили своего плана – погубить. Они обратились к старикам, помнившим еще прежние процессы о чародействе, и, потолковав с ними, составили новый донос, в котором изъясняли, что хотя по существующим законам и нельзя обвинить доктора Сегелиеля, но что нельзя и не видеть во всех его действиях какой-то сверхъестественной силы, и вследствие того просили: придерживаясь к прежним законам о чародействе, снова разыскать все дело. К счастью Сегелиеля, судьи, к которым попала эта просьба, были люди просвещенные: один из них был известен переводом Локка на отечественный язык; другой – весьма важным сочинением о юриспруденции, к которой он применил Кантову систему; третий оказал значительные услуги атомистической химии. Они не мог-

ли удержаться от смеха, читая эту странную просьбу, возвратили ее просителям, как недостойную уважения, а один из них, по добродушию, прибавил к тому изъяснение всех случаев, казавшихся просителям столь чудесными; и – благодаря европейскому просвещению доктор Сегелиель продолжал вести свою роскошную жизнь, собирать у себя все лучшее общество, лечить на предлагаемых им условиях, а враги его продолжали занемогать и умирать по-прежнему.

К этому страшному человеку решился идти наш будущий импровизатор. Как скоро его впустили, он бросился доктору на колени и сказал: «Господин доктор! Господин Сегелиель! Вы видите пред собою несчастнейшего человека в свете: природа дала мне страсть к стихотворству, но отняла у меня все средства следовать этому влечению. Нет у меня способности мыслить, нет способности выражаться; хочу говорить – слова забываю, хочу писать – еще хуже; не мог же бог осудить меня па такое вечное страдание! Я уверен, что мое несчастье происходит от какой-нибудь болезни, от какой-то нравственной натуги, которую вы можете вылечить».

– Вишь, Адамовы сынки, – сказал доктор (это была его любимая поговорка в веселый час), – Адамовы детки! Все помнят батюшкину привилегию; им бы все без труда доставалось! И получше вас работают на



сем свете. Но, впрочем, так уж и быть, – прибавил он, помолчав, – я тебе помогу; да ты ведь знаешь, у меня есть свои условия...

– Какие хотите, господин доктор! – что б вы ни предложили, на все буду согласен; все лучше, нежели умирать ежеминутно.

– И тебя не испугало все, что в вашем городе про меня рассказывают?

– Нет, господин доктор! Хуже того положения, в котором я теперь нахожусь, вы не выдумаете. (Доктор засмеялся.) Я буду с вами откровенен: не одна поэзия, не одно желание славы привели меня к вам; но и другое чувство, более нежное... Будь я половчее на письме, я бы мог обеспечить мое состояние, и тогда бы моя Шарлотта была ко мне благосклоннее... Вы понимаете меня, господин доктор?

– Вот это я люблю, – вскричал Сегелиель, – я, как наша матушка инквизиция, до смерти люблю откровенность и полную ко мне доверенность; беда бывает только тому, кто захочет с нами хитрить. Но ты, я вижу, человек прямой и откровенный; и надобно наградить тебя по достоинству. Итак, мы соглашаемся исполнить твою просьбу и дать тебе способность *производить без труда*; но первым условием нашим будет то, что эта способность никогда тебя не оставит: согласен ли ты на это?

– Вы шутите надо мною, господин Сегелиель!

– Нет, я человек откровенный и не люблю скрывать ничего от людей, мне предающихся. Слушай и пойми меня хорошенько: способность, которую я даю тебе, сделается частичкой тебя самого; она не оставит тебя ни на минуту в жизни, с тобою будет расти, созревать и умрет вместо с тобою. Согласен ли ты на это?

– Какое же в том сомнение, г. доктор?

– Хорошо. Другое мое условие состоит в следующем: ты будешь *все видеть, все знать, все понимать*. Согласен ли ты на это?

– Вы, право, шутите, господин доктор! Я не знаю, как благодарить вас... Вместо одного добра вы даете мне два, как же на это не согласиться!

– Пойми меня хорошенько: ты будешь все знать, все видеть, все понимать. – Вы благодетельнейший из людей, господин Сегелиель!

– Так ты согласен?

– Без сомнения; нужна вам расписка?

– Не нужно! Это было хорошо в то время, когда не существовало между людьми заемных писем; а теперь люди стали хитры; обойдемся и без расписки; сказанного слова так же топором не вырубешь, как и писанного. Ничто в свете, любезный приятель, ничто не забывается и не уничтожается.

С этими словами Сегелиель положил одну руку на

голову поэта, а другую на его сердце, и самым торжественным голосом проговорил:

«От тайных чар прими ты дар: обо всем размышлять, все па свете читать, говорить и писать, красно и легко, слезно и смешно, стихами и в прозе, в тепле и морозе, наяву и во сне, на столе, на песке, ножом и пером, рукой, языком, смеясь и в слезах, па всех языках...»

Сегелиель сунул в руку поэту какую-то бумагу и поворотил его к дверям.

Когда Киприяно вышел от Сегелиеля, то доктор с хохотом закричал: «Пепе! фризую шинель!» – «Агу!» – раздалось со всех полок докторской библиотеки, как во 2-м действии Фрейшюца<sup>[5]</sup>.

Киприяно принял слова Сегелиеля за приказание камердинеру; но его удивило немного, зачем щеголеватому, роскошному доктору такое странное платье; он заглянул в щелочку – и что же увидел: все книги па полках были в движении; из одной рукописи выскочила цифра 8; из другой арабский алеф, потом греческая дельта; еще, еще – и наконец вся комната наполнилась живыми цифрами и буквами; они судорожно сгибались, вытягивались, раздувались, переплетались своими неловкими ногами, прыгали, падали; неисчислимые точки кружились между ними, как инфузории в солнечном микроскопе, и старый халдей-

ский полиграф бил такт с такою силою<sup>[6]</sup>, что рамы звенели в окошках...

Испуганный Киприяно бросился бежать опрометью.

Когда он несколько успокоился, то развернул Сегелиелеву рукопись. Это был огромный свиток, сверху донизу исписанный непонятными цифрами. Но едва Киприяно взглянул на них, как, оживленный сверхъестественною силою, понял значение чудесных письмен. В них были расчислены все силы природы: и систематическая жизнь кристалла, и беззаконная фантазия поэта, и магнитное биение земной оси, и страсти инфузория, и нервная система языков, и прихотливое изменение речи; все высокое и трогательное было подведено под арифметическую прогрессию; непредвиденное разложено в Ньютонов бином; поэтический полет определен циклоидой; слово, рождающееся вместе с мыслию, обращено в логарифмы; невольный порыв души приведен в уравнение. Пред Киприяно лежала вся природа, как остов прекрасной женщины, которую прозектор выварил так искусно, что на ней не осталось ни одной живой жилки.

В одно мгновение высокое таинство зарождения мысли показалось Киприяно делом весьма легким и обыкновенным; чертов мост с китайскими погремушками протянулся для него над бездною, отделяющею мысль от выражения, и Киприяно заговорил стихами.

В начале сего рассказа мы уже видели чудный успех Киприяно в его новом ремесле. В торжестве, с полным кошельком, но несколько усталый, он возвратился в свою комнату; хочет освежить запекшиеся уста, смотрит: в стакане не вода, а что-то странное. там два газа борются между собою, и мириады инфузорий плавают между ними; он наливает другой стакан, все то же; бежит к источнику – издали серебром льются студёные волны, – приближается – опять то же, что и в стакане; кровь поднялась в голову бедного импровизатора, и он в отчаянии бросился на траву, думая во сне забыть свою жажду и горе; но едва он прилег, как вдруг под ушами его раздаётся шум, стук, визг: как будто тысячи молотов бьют об наковальни, как будто шероховатые поршни протираются сквозь груды камней, как будто железные грабли цепляются и скользят по гладкой поверхности. Он встает, смотрит: луна освещает его садик, полосатая тень от садовой решетки тихо шевелится на листьях кустарника, вблизи муравьи строят свой муравейник, все тихо, спокойно; – прилег снова – снова начинается шум. Киприяно не мог заснуть более; он провел целую ночь не смыкая глаз. Утром он побежал к своей Шарлотте искать покоя, поверить ей свою радость и горе. Шарлотта уже знала о торжестве своего Киприяно, ожидала его, принарядилась, приправила свои

светло-русые волосы, вплела в них розовую ленточку и с невинным кокетством посматривала в зеркало. Киприяно вбегает, бросается к ней, она улыбается, протягивает к нему руку, – вдруг Киприяно останавливается, уставляет глаза на нее...

И в самом деле было любопытно! Сквозь клетчатую перепонку, как сквозь кисею, Киприяно видел, как трехгранная артерия, называемая сердцем, затрепетала в его Шарлотте; как красная кровь покатилась из нее и, достигая до волосных сосудов, производила эту нежную белизну, которою он, бывало, так любовался... Несчастный! В прекрасных, исполненных любви глазах ее он видел лишь какую-то камер-обскуру<sup>[7]</sup>, сетчатую плеву, каплю отвратительной жидкости; в ее миловидной поступи лишь механизм рычагов... Несчастный! Он видел и желчный мешочек, и движение пищеприемных снарядов... Несчастный! Для него Шарлотта, этот земной идеал, пред которым молилось его вдохновение, сделалась анатомическим препаратом!

В ужасе оставил ее Киприяно. В ближнем доме находилось изображение Мадонны, к которой, бывало, прибегал Киприяно в минуты отчаяния, которой гармонический облик успокаивал его страждующую душу; – он прибежал, бросился на колени, умолял; но увы! для него уже не было картины: краски шевели-

лись на ней, и он в творении художника видел – лишь химическое брожение.

Несчастный страдал до невероятности; все: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, – все чувства, все нервы его по лучили микроскопическую способность, и в известном фокусе малейшая пылинка, малейшее насекомое, не существующее для нас, теснило его, гнало из мира; щебетание бабочкина крыла раздирало его ухо; самая гладкая поверхность щекотала его; все в природе разлагалось пред ним, но ничто не соединялось в душе его: *он все видел, все понимал*, но между им и людьми, между им и природою была вечная бездна; ничто в мире не сочувствовало ему.

Хотел ли он в высоком поэтическом произведении забыть самого себя, или в исторических изысканиях набрести на глубокую думу, или отдохнуть умом в стройном философском здании – тщетно: язык его лепетал слова, но мысли его представляли ему совсем другое.

Сквозь тонкую пелену поэтических выражений он видел все механические подставки создания: он чувствовал, как бесился поэт, сколько раз переламывал он стихи, которые казались невольно вылившимися из сердца; в самом патетическом мгновении, когда, казалось, все внутренние силы поэта напрягались и перо его не успевало за словами, а слова за мысля-

ми, – Киприяно видел, как поэт протягивал руку за «Академическим словарем»<sup>[8]</sup> и отыскивал эффективное слово; как посреди восхитительного изображения тишины и мира душевного поэт драл за уши капризного ребенка, надоевшего ему своим криком, и зажимал собственные свои уши от действия женина трещоточного могущества.

Читая историю, Киприяно видел, как утешительные высокие помыслы об общей судьбе человечества, о его постоянном совершенствовании, как глубокомысленные догадки о важных подвигах и характере того или другого народа, которые, казалось, сами выливались из исторических изысканий, – в самом деле держались только искусственным сцеплением сих последних, как это сцепление держалось за сцепление авторов, писавших о том же предмете; это сцепление за искусственное сцепление летописей, а это последнее за ошибку переписчика, на которую, как на иголку, фокусники поставили целое здание.

Вместо того чтоб удивляться стройности философской системы, Киприяно видел, как в философе зародилось прежде всего желание сказать что-нибудь новое; потом попало ему счастливое, задорное выражение; как к этому выражению он приделал мысль, к этой мысли целую главу, к этой главе книгу, а к книге целую систему; там же, где философ, оставляя



свою строгую форму, как бы увлеченный сильным чувством, пускался в блестящее отступление, – там Киприано видел, что это отступление только служило прикрышкой для среднего термина силлогизма<sup>[9]</sup>, которого игру слов чувствовал сам философ.

Музыка перестала существовать для Киприано; в восторженных созвучиях Генделя и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное бесчисленными шариками, которые один звук отправлял в одну сторону, другой в другую, третий в третью; в раздирающем сердце вопле гобоя, в резком звуке трубы он видел лишь механическое сотрясение в пении страдивариусов и амати<sup>[10]</sup> – одни животные жилы, по которым скользили конские волосы.

В представлении оперы он чувствовал лишь мучение сочинения музыки, капельмейстера; слышал, как настраивали инструменты, разучивали роли, словом, ощущал все прелести репетиций; в самых патетических минутах видел бешенство режиссера за кулисами и его споры с статистами и машинистом, крючья, лестницы, веревки, и проч. и проч.

Часто вечером измученный Киприано выбегал из своего дома на улицу: мимо него мелькали блестящие экипажи; люди с веселыми лицами возвращались от дневных забот под мирный домашний кров; в освещенные окна Киприано смотрел на картины тихого се-

мейного счастья, на отца и мать, окруженных прыгающими малютками, – но он не имел наслаждения завидовать сему счастью; он видел, как чрез реторту общественных условий и приличий, прав и обязанностей, рассудка и правил нравственности – вырабатывался семейственный яд и прижигал все нервы души каждого из членов семейства; он видел, как нежному, попечительному отцу надоедали его дети; как почтительный сын нетерпеливо ожидал родительской кончины; как страстные супруги, держась рука за руку, помышляли: чем бы поскорее отделаться друг от друга? Киприяно обезумел. Оставив свое отечество, думая спастись от самого себя, пробежал он разные страны, но везде и всегда по-прежнему продолжал все видеть и все понимать.

Между тем и коварный дар стихотворства не дремал в Киприяно. Едва на минуту замолкнет его микроскопическая способность, как стихи водою польются из уст его; едва удержит свое холодное вдохновение, как снова вся природа оживет перед ним мертвою жизнью – и без одежды, неприличная, как нагая, но обутая женщина, явится в глаза ему. С каким горем он вспоминал о том сладком страдании, когда, бывало, на него находило редкое вдохновение, когда неясные образы носились перед ним, волновались, сливались друг с другом!.. Вот образы яснее, яснее;

из другого мира медленно, как долгий поцелуй любви, тянется к нему рой пиитических созданий; – приблизились, от них пышет не земной теплотой, и природа сливается с ними в гармонических звуках – как легко, как свежо на душе! Тщетное, тяжкое воспоминание! Напрасно хотел Киприяно пересилить борьбу между враждебными дарами Сегелиеля: едва незаметное впечатление касалось раздраженных органов страдальца, и снова микроскопизм одолевал его, и незрелая мысль прорывалась в выражение.

Долго скитался Киприяно из страны в страну; иногда нужда снова заставляла его прибегать к пагубному Сегелиелеву дару: дар этот доставлял избыток, а с ним и все вещественные наслаждения жизни; но в каждом из наслаждений был яд, и после каждого нового успеха умножалось его страдание.

Наконец он решился не употреблять более своего дара, заглушить, задавить его, купить его ценою нужды и бедности. Но уж поздно! От долговременного борения расшаталось здание души его; поломались тонкие связи, которыми соединены таинственные стихии мыслей и чувствований, – и они распались, как распадаются кристаллы, проржавленные едкой кислотой; в душе его не осталось ни мыслей, ни чувствований: остались какие-то фантомы, облеченные в одежду слов, для него самого непонятных. Нищета,

голод истерзали его тело, – и долго брел он, питаясь милостынею и сам не зная куда...

Я нашел Киприяно в деревне одного степного помещика; там исправлял он должность – шута. В фризовой шинели, подпоясанный красным платком, он беспрестанно говорил стихи на каком-то языке, смешанном из всех языков... Он сам рассказывал мне свою историю и горько жаловался на свою бедность, но еще больше на то, что никто его не понимает; что бьют его, когда он, в пылу поэтического восторга, за недостатком бумаги, изрежет столы своими стихами; а еще более на то, что все смеются над его единственным, сладким воспоминанием, которого не мог истребить враждебный дар Сегелиеля, – над его первыми стихами к Шарлотте.

# Комментарии

1.

Es mochte kein Bund so lenger leben... – цитата из начального монолога Фауста («Фауст», Сцена 1. Ночь).

2.

Гарпагон – главный герой комедии Мольера «Скупой» (1668).

3.

...статуя спартанского тирана – Несомненно, речь идет не о Спарте, а о дорийской колонии Агригент (Сицилия), тиран которой Фаларид (VII–VI вв. до н. э.), по преданию, уничтожал противников в медной статуе быка.

4.

...вроде кроватей доктора Грема... – Имеется в виду доктор-шарлатан Джеймс Грэм (1745–1794), который в Адельфи, в Лондоне, в огромном особняке, называемом «Замком здоровья» и снабженном «небесной кроватью», читал за непомерную плату лекции, при этом ему ассистировала полуобнаженная женщина, которую он называл «Богиней здоровья». Имя этой женщины, служившей Грэму идеалом

здоровья и красоты, – Эмма Лайон (будущая леди Гамильтон). См.: Timbs. Doctor and Patients. London, 1876.

## 5.

...как во 2-м действии «Фрейшюца». – Имеется в виду крик невидимых духов «А-га-у!» из финальной картины («Волчье ущелье») 2-го действия названной оперы немецкого композитора К. – М. Вебера (1786–1826). В России эта самая популярная и самая романтическая из опер Вебера шла под названием «Волшебный стрелок».

## 6.

...халдейский полиграф бил такт с такою силою... – В данном контексте халдейский полиграф скорее всего в значении старинной ученой книги. По данным словаря Ф. Толля (Настольный словарь для справок по всем отраслям знания... СПб., 1864), полиграф – это «писавший о различных науках». В переносном значении это может быть сборник ученых статей. На ученый характер книги указывает и эпитет «халдейский». Халдеи – народ, населявший в древности юго-западную часть Вавилонии и славившийся своими познаниями в астрономии и астрологии. Впоследствии в Риме за астрологами

закрепилось наименование халдеев.

**7.**

камер-обскура – закрытый ящик, в передней стенке которого есть отверстие для прохождения лучей света, дающих на противоположной стенке обратное изображение светящегося предмета.

**8.**

...протягивал руку за «Академическим словарем»... – Имеется в виду толковый «Словарь Академии Российской», вышедший в 1789–1794 гг. в 6 частях и переизданный в 1806–1822 гг. Ср. у Пушкина: «...Хоть и заглядывал я встарь В Академический словарь» (Евгений Онегин, гл. 1, строфа XXVI).

**9.**

...прикрышкой для среднего термина силлогизма... – Здесь «средний термин» употреблен в значении формального логического хода, выражения, за которым стоит не чувство, а голый рассудок.

**10.**

...в пении страдивариусов и амати... – имеются в виду скрипки, названные по имени итальянских скрипичных мастеров Амати (1596–1684) и его

ученика Страдивариуса (1644–1737). Скрипки этих мастеров до сих пор считаются непревзойденными по звуковым качествам и изяществу формы.